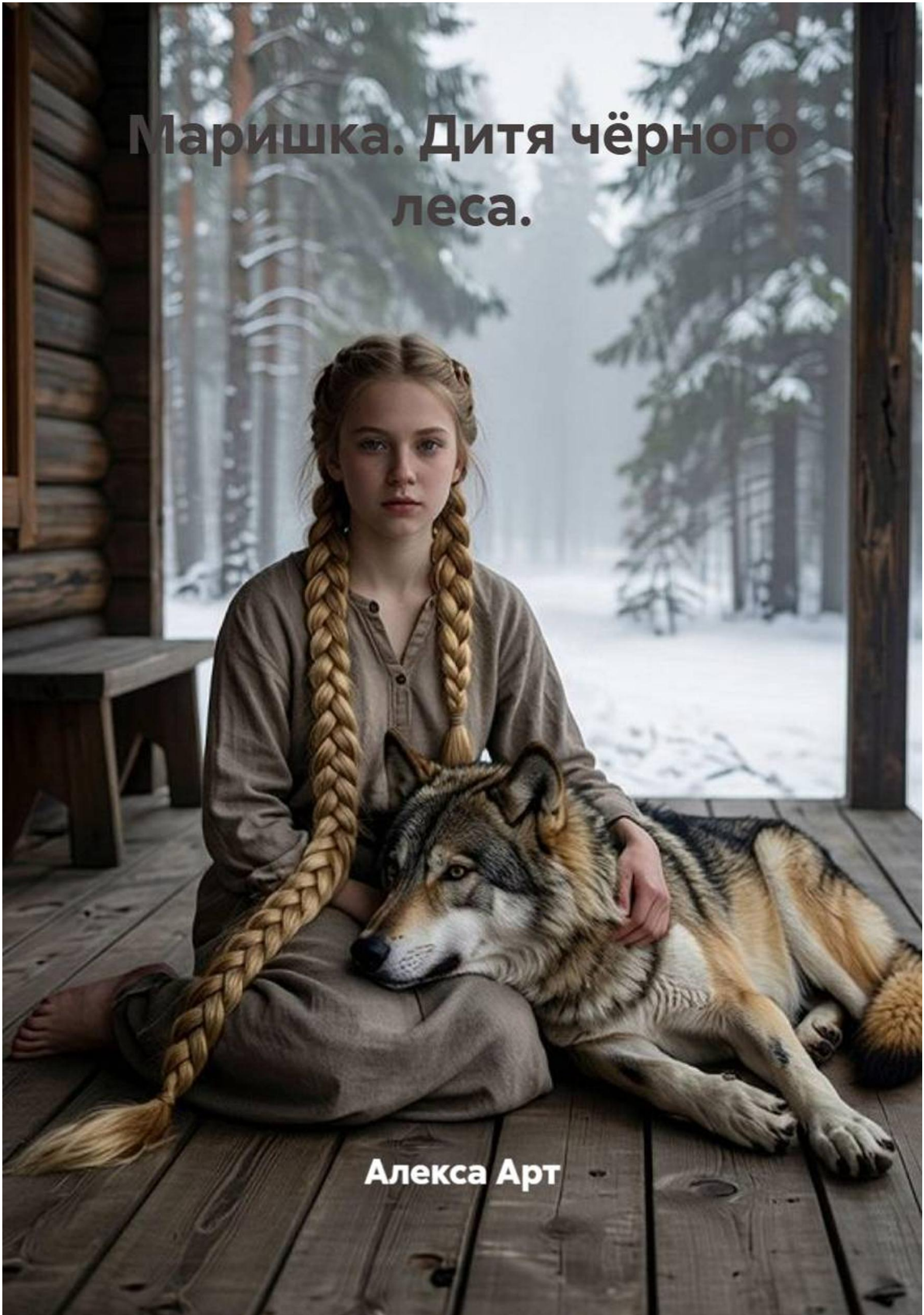


Маришка. Дитя чёрного леса.

Алекса Арт

Алекса Арт

Маришка. Дитя чёрного леса.

«Автор»
2026

Арт А.

Маришка. Дитя чёрного леса. / А. Арт — «Автор», 2026

Её выгнали в Чёрный лес — босую, в одной рубахе, на верную смерть. Но лес не убил. Лес принял. Волки, медведи, деревья — все слушались её. А деревня, что гнала, спустя годы пошла к ней на поклон.Она лечила всех. Не отказывала никому. Но помнила — и не прощала до конца. А когда на её пороге оставили чужого человека, обречённого на смерть, — она взялась выхаживать его.
Год. Ни днём раньше. Год, за который она узнала, что такое любовь. И год, за который её враги узнали, что такое лес, который умеет отвечать.

© Арт А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. 5
ГЛАВА ПЕРВАЯ. 7
Детство Маришки. 7
ГЛАВА ВТОРАЯ. 12
Чёрный лес. 12
Конец ознакомительного фрагмента. 17

Алекса Арт
Маришка. Дитя чёрного леса.

ПРОЛОГ.

Сказывают, давно это было. Так давно, что и те, кто сказывал, уже в земле лежат, а их сказывания — как угли в остывшем кострище: тронешь — обожжёшься, а тепла уже нет.

Я не была там. Я только слышала. Но слышала от тех, кому верить можно.

Чёрный лес стоял стеной. Не то чтобы деревья в нём были черны — нет, сосны как сосны, ели как ели. Но оттого ли, что солнце туда не заглядывало, оттого ли, что люди обходили его стороной за версту, — только казался он тёмным даже в полдень. И зверь в нём жил не тот, что в других лесах. Волки там выли так, что кони на дороге храпели и рвали повод.

В ту ночь они выли особенно.

Телега скрипела по корням. Мужик на облучке — широкий, борода в две пряди, руки в саже — натягивал вожжи и оглядывался. Позади, в телеге, лежала его жена. Живот у неё поднимался горой, лицо блестело от пота.

Они бежали из города. Не от беды — от набега. Пришли чужие, с огнём и железом, и мужик дрался, пока мог. Говорят, двоих зарубил топором у самых ворот, а потом вспомнил про жену — и бросил всё. Погрузил её в телегу, хлестнул коней. За ними гнались. Двое. Он их встретил на узкой дороге, где не развернуться, и порубил обоих. Сам потом не помнил, как. А люди сказывали — и так, и эдак, кто во что горазд. Только в одном сходились: живым он оттуда вышел, и жену вывез, и дочь.

А кони несли дальше. И свернули не туда.

Лес принял их тихо. Слишком тихо, если подумать. Ни ветка не хрустнула, ни птица не вскрикнула. Только волки — далеко, за стволами — вдруг смолкли все разом. И снег пошёл — ранний, редкий, — хотя до зимы было ещё далеко. Мужик потом говорил, что кони сами встали, как вкопанные, и не шли дальше, хоть ты их режь.

— Слышь, — сказал он, оборачиваясь.

Жена не отвечала. Она кусала рукав, чтобы не кричать. Роды начались.

Он принял дочь на руки. Руки у него были в крови — чужой, своей, теперь уже и её, родильной, — и он держал её неловко, как держат горящий уголь, который нельзя уронить.

Девочка не кричала.

Только глаза открыла — серые, ясные, будто и не младенческие вовсе. И посмотрела на него. Мужик потом клялся, что она посмотрела осмысленно, будто спросила что-то. Но, может, и померещилось. Кто его знает, что чудится человеку в чёрном лесу ночью.

А волки замолчали.

Не сразу — постепенно. Сначала один, самый дальний, оборвал вой на полувздохе. Потом другой. И стало так тихо, что слышно было, как снег — ранний, редкий — шуршит по прошлогодней листве.

Жена подняла голову.

— Мать, — сказала она хрипло. — Мать приходила.

Мужик нахмурился.

— Какая мать? Твоя в земле давно.

— Не моя. — Она смотрела не на него, а поверх, в темноту между стволами. — Прабабка. Мать… — она запнулась, будто сама себе не верила, — мать приходила. Только не моя мать. Прабабка. Стояла вон там. В платке. Руки сухие, как коренья. Шептала над ней.

Мужик оглянулся. Никого. Только сосны да снег.

— Померещилось, — сказал он. — Ты рожала. Всякое привидится.

Жена промолчала. Но потом, много позже, когда они уже жили в деревне, когда Маришка подросла и стала заговаривать собак так, что те слушались, а людей так, что те шарахались, — она вспомнила ту ночь. И поняла, что не померещилось.

Прабабка её была ведуньей. Белой. Людей лечила, скот заговаривала, а перед смертью сказала: «Я вернусь. Через два колена».

Два колена — это как раз Маришка. Прабабка — бабка — мать — Маришка: так в деревне считали, через одно. Кто считал иначе, тому и спору нет, только ведунья-то своё знала.

Староста деревни, что стояла верстах в пяти от Чёрного леса, долго чесал затылок, глядя на мужика с ребёнком на руках и на жену, которая еле стояла.

— Кузнец, говоришь?

— Кузнец.

— А чего в Чёрный лес понесло?

Мужик не ответил. Не было у него ответа. Бежали — и всё.

Староста вздохнул.

— Дом есть. Пустой. Дряхлый, правда. Крыша худая, печь дымит. Но жить можно. — Он помолчал. — Только, — он покосился на свёрток в руках мужика, — баба твоя где рожала-то?

— В лесу.

Староста перекрестился.

— Ох, — сказал он. — Ох, худо.

Что худо — не объяснил. Но мужик понял. И жена поняла. И потом, когда Маришка подросла и деревенские бабы начали шептаться за спиной, когда поп на проповеди стал поглядывать в их сторону, когда дети перестали с ней играть, а стали дразнить «лешачихой», — они вспомнили этот вздох старосты.

Родилась в Чёрном лесу. Под волками. В ночь, когда нечисть гуляет.

Значит, ведьма.

А то, что она в три года лихорадку сняла с соседского мальчишки, что в пять нашла корову, которую искали всей деревней, что в семь уже знала, какая трава от какой хвори, — это не в счёт. Это-то как раз и подтверждало.

Ведьма.

Я не была там. Я только слышала. Про бой тот, про дорогу, про ночь — всякое сказывали, а я передаю как слышала.

Но иногда, когда ветер с той стороны, где Чёрный лес, и волки начинают выть на луну, — мне кажется, я слышу голос. Женский. Молодой. Злой.

И ласковый — для тех, кто не человек.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Детство Маришки.

Сказывают, росла она не как все.

Не то чтобы совсем дикая — нет, мать её учила и уму-разуму, и прясть, и печь, и воду носить. Всё она умела, что деревенская девка должна уметь. Только делала она всё легко, любо-дорого было смотреть. В руках у неё всё спорилось: пряжа шла ровно, тесто поднималось пышно, вода в коромысле не расплёскивалась. А если она за что бралась — цветы в палисаднике зацветали пуще прежнего, у больного боль утихала от одного прикосновения, скотина слушалась с полуслова, будто понимала.

И с самого начала было в ней что-то не так.

Первой это заметила собака.

У кузнеца во дворе жил пёс — старый, криволапый, один глаз бельмом затянут. Звали его Бурый. Пёс как пёс, двор стерёг исправно, чужих облаивал, своих не трогал. А как Маришке сравнялось три года и она начала из избы выходить — Бурый к ней привязался так, что хоть плачь. Спал у её порога, ходил за ней тенью, а если кто из деревенских мальчишек пытался её за косу дёрнуть — рычал так, что те врассыпную.

Бабы шептались: «Чего это Бурый-то к ней липнет? Пса не прикормишь — он к чужому не пойдёт».

А мать молчала.

Она-то знала.

В четыре года Маришка впервые заговорила с коровой.

Дело было так. У соседа, Михея-бондаря, корова должна была отелиться — да затянулось. Второй день мычит, с ног валится, а телёнка нет. Михей бегал по деревне, баб-повитух собирал, а те только руками разводили: «Не наше это дело, коровье. Тут либо сам справится, либо — на мясо».

Маришка стояла у плетня, смотрела. Потом пролезла под плетнём, подошла к корове — та лежала в хлеву, тяжко дышала, — и положила ладонь ей на бок.

И зашептала что-то.

Михей потом божился, что ничего не слышал — только мычание. Но корова вдруг вздохнула, повела боком, и через минуту-другую телёнок пошёл. Живой, мокрый, глаза таращит.

Михей стоял, как столб.

— Ты… — начал он, глядя на девчонку. — Ты чего сделала-то?

Маришка пожала плечами.

— Она боялась, — сказала она просто. — Я сказала — не бойся.

Михей перекрестился.

Мать Маришки, стоявшая у плетня, побледнела. Взяла дочь за руку, увела молча. Дома — не кричала, не била. Только села на лавку, обняла её и долго сидела так, глядя в стену.

А вечером, когда отец вернулся из кузни, сказала ему тихо:

— Она с коровой говорила. И та послушала.

Отец крякнул, почесал бороду.

— Ну и что? Дитя. Мало ли что дитю в голову взбредёт.

— Гриша, — сказала мать. — Она поняла. Корова её поняла.

Отец помолчал. Потом махнул рукой:

— Не выдумывай. Вырастет — перерастёт.

Не переросла.

В пять лет она нашла корову, которую искали всей деревней.

Корова была старостина — лучшая, с колокольцем на шее, дорогая. Ушла в лес и пропала. Искали три дня, мужики с рогатинами ходили, собаки лаяли, бабы на завалинках голосили. Староста ходил чёрный, как туча: корову он купил на последние деньги, и пропажа была ему как нож в сердце.

Маришка в тех поисках не участвовала. Её, малую, дома держали. А на четвёртый день она вышла за околицу, постояла, поглядела на лес — и пошла.

Мать хватилась — нет её.

Кинулись искать. Нашли на опушке: стоит, гладит старостину корову по морде, а та мычит довольно, будто и не пропадала никуда. Вся в репьях, но целая.

— Где ты её взяла? — заорал староста, подбегая.

Маришка обернулась. Посмотрела на него серыми глазами — спокойно так, без испуга.

— Она в овраге застряла, — сказала она. — Ногу подвернула. Плакала. Я услышала.

Староста открыл рот. Закрыл. Поглядел на корову — та стояла смирно, не бодалась, не рвалась. Поглядел на девчонку — та вытирала руки о подол, будто только что невесть что сделала.

— Услышала, — повторил он тупо. — За версту?

Маришка кивнула.

Староста перекрестился. Потом ещё раз. Потом взял корову за верёвку и повёл домой, не оглядываясь.

А вечером у него в избе собрались мужики. Пили брагу, качали головами. И староста сказал то, что потом много лет повторяли в деревне:

— Нечисто это. Ребёнок, а поди ж ты. За версту услышала. Не бывает так.

— Может, совпало, — робко сказал Михей-бондарь.

Староста поглядел на него тяжко.

— Совпало у тебя корова отелилась. А тут — лес. Чёрный лес. Она там, почитай, родилась. Ты помнишь, где она родилась-то?

Михей замолчал.

Помнил.

Все помнили.

В шесть лет она начала заговаривать болезни.

Не то чтобы лечить по-настоящему — до этого ещё было далеко. Но если у кого в семье дитя начинало жару давать, если баба маялась животом, если мужик с поля приходил и валился без сил — стали потихоньку к ней идти. Не к знахарке, что жила за рекой, — та брала дорого и шла медленно. А к Маришке — тихо, по углам, чтобы никто не видел.

Она не отказывала.

Выйдет, бывало, на крыльцо, поглядит на больного — и скажет:

— Ты вчера с реки шёл, в холодную воду ступил. Вот тебя и схватило. — И подаст пучок травы, что сама нарвала: — Завари. Пей три дня. И студёного не пей.

И ведь помогало.

Бабы шептались: «Дар у неё. От Бога или от кого — не понять. Но дар».

А поп, отец Никодим, хмурился.

Он был человек не злой, но ревнивый. Церковь в деревне стояла маленькая, деревянная, службы он правил исправно. И ему не нравилось, что люди идут не к нему за помощью. К нему — за молитвой. А за травой и словом — к девчонке.

Однажды он остановил мать Маришки на улице.

— Мария, — сказал он. — Слышал я, дочь твоя лечит. Травами. Словами.

Мать побледнела, но ответила твёрдо:

— Дитя. Играет.

— Играет, — повторил поп. — А люди-то не в игрушки играют. Люди к ней идут. За помощью. А помощь — от Бога. Не от ребёнка.

Мать опустила глаза.

— Я ей скажу, — тихо сказала она. — Скажу, чтобы перестала.

— Скажи, — кивнул поп. — Скажи. Пока беда не вышла.

Он ушёл. А мать стояла ещё долго, глядя ему вслед, и руки у неё дрожали.

Дома она не кричала. Села рядом с Маришкой на лавку, взяла её руки в свои — сухие, тёплые, все в мозолях от работы.

— Маришка, — сказала она. — Дочка. Ты вот что. Ты людей-то не лечи больше. Не надо.

Маришка подняла на неё глаза — серые, ясные, недетские.

— Почему? — спросила она. — Им же плохо.

— Плохо, — согласилась мать. — Но они сами справятся. Или к знахарке пойдут. Или к попу. А ты… — она запнулась, подбирая слова, — ты маленькая ещё. Тебе нельзя.

— Почему нельзя?

Мать долго молчала.

— Потому что боятся они, — сказала она наконец. — Боятся тех, кто может больше, чем они. А кто боится — тот злится. А кто злится — тот беду делает.

Маришка нахмурилась. Подумала.

— Они и так боятся, — сказала она. — Мальчишки дразнятся. Бабы крестятся, когда я мимо иду. Дядя староста на меня не смотрит.

Мать вздохнула.

— Боятся, — согласилась она. — Потому что ты в лесу родилась. Они это помнят. А ты им ещё и повод даёшь.

Маришка помолчала. Потом высвободила руки.

— Ладно, — сказала она. — Не буду.

И не стала.

Но и перестать не смогла.

Потому что когда к ней приходили — тихо, украдкой, с потупленными глазами, — она видела, что им плохо. Видела, как у ребёнка жар поднимается, как у бабы живот сводит, как мужик кашляет кровью. И не могла.

Она лечила.

Только теперь — тайком. Чтобы мать не видела. Чтобы поп не знал. Чтобы никто не донёс.

А деревня — молчала.

Деревня брала.

А по осени случилось то, чего боялись.

Пошёл мор.

Сначала пала скотина у одного, у другого. Потом у третьего. Коровы валились с ног, мычали жалобно, и через день-другой — всё. Овцы дохли, куры переставали нестись, собаки подыхали под заборами. И люди начали хворать: сначала старики, потом дети, потом — кто попало.

Деревня загудела.

Сначала шептались по избам. Потом — на улице. Потом — на сходе, у церкви.

И кто-то сказал то, что все думали, но боялись произнести вслух:

— Это она. Ведьма.

Поп Никодим стоял на крыльце, смотрел на толпу. Молчал. Но когда староста спросил его мнения — развёл руками:

— Я предупреждал. Говорил: не дело это. Ребёнок лечит, а мы смотрим. Вот и дождались.

Толпа загудела громче.

— Ведьма! — закричали бабы. — Ведьма! Извела скот! Мор наслала!

Мужики хмурились, переглядывались. Кто-то уже держал в руках вилы. Кто-то — топор.

А Маришка в это время была дома. Сидела на печи, грелась. И слышала — через окно, через стену, — как гудит деревня. Как её имя повторяют всё чаще и злее.

Она закрыла глаза.

И поняла: сейчас придут.

Пришли на закате.

Мужики — человек десять, с вилами, с топорами. Бабы — за ними, с криком, с бранью. Поп Никодим шёл впереди, с крестом. Староста плёлся сзади, бледный, но не остановил.

Отец Маришки вышел на крыльцо. Встал в дверях — широкий, борода в две пряди, руки в саже, как тогда, в лесу. Только теперь — без топора.

— Куда идёте? — спросил он тихо.

— Отойди, кузнец, — сказал поп. — Не твоё дело. Дочь твоя — ведьма. Мор наслала. Скот извела. Отдай её — по-хорошему.

Отец не двинулся.

— Не отдам.

— Гриша, — сказала мать из-за его спины. — Гриша, не надо.

— Не отдам, — повторил он.

Толпа подалась вперёд.

И тогда Маришка вышла.

Она вышла — босая, простоволосая, в одной рубахе. Встала рядом с отцом. Поглядела на толпу — серыми глазами, спокойно так, будто не её сейчас убивать собирались.

Поп Никодим шагнул к ней. Протянул руку — схватить, увести, сделать что собирался.

И вдруг она подняла глаза.

Никто не понял, что случилось. Только поп отшатнулся, будто на угли наступил. Глаза у девчонки были серые — а стали жёлтые, как у волка, как у рыси, как у того зверя, что в темноте глядит. И она прошептала — тихо, а услышали все:

— Не тронь. Пожалеешь. Все пожалеете.

И не скажешь ведь, что ребёнок. Стоит — тоненькая, босая, ветер рубаху треплет. А голос — не детский. И глаза — не человечьи.

Бабы креститься начали. Мужики притихли, вилы опустили. Поп за крест схватился — а руки трясутся.

А она спустилась с крыльца — медленно, ступенька за ступенькой — и пошла.

Толпа расступалась.

Молча.

Только смотрели ей вслед: как идёт она через двор, через огород, через поле — к Чёрному лесу. Босая, простоволосая, в одной рубахе. Не оглядывается.

Следом мать выскочила — с крыльца, за ней, с криком:

— Маришка! Дочка!

Но её удержали. Мужики схватили за руки, не пустили. Она рвалась, кричала — а староста сказал тихо, глядя в землю:

— Не пускай. Уйдёт — больше не вернётся. Оно и к лучшему. — Помолчал. — А ты сама-то… тяжёлая. На сносях. Куда тебе за ней?

Мать замерла. Поглядела на свой живот — большой, круглый, под самый подбородок. И заплакала — тихо, беззвучно, осев на крыльцо.

Отец стоял рядом. Молчал.

Только смотрел, как дочь уходит к лесу и не двинулся с места.

Говорят, в тот вечер волки в Чёрном лесу снова выли.

Только теперь — не страшно.

Будто звали.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Чёрный лес.

Сказывают, шла она всю ночь.

Поле кончилось скоро — за последней полосой, где рожь уже сжали, стояли сухие стебли, торчали, как копья. Дальше начинался лес. Не тот, что за рекой, светлый, берёзовый, где бабы ходили по грибы да по ягоды. Другой. Чёрный.

Маришка остановилась на опушке.

Позади осталась деревня — тёмные крыши, огоньки в окнах, собачий лай. Кто-то ещё кричал, кто-то звал её по имени. Она не оборачивалась.

Впереди стояли сосны. Толстые, в два обхвата, тёмные, будто обугленные. Между ними — темнота, густая, хоть ножом режь. И тишина. Такая тишина, что уши закладывало.

Маришка постояла. Вдохнула.

Пахло хвоей, сырой землёй и чем-то ещё — старым, глубоким, будто из-под корней. Лес дышал. Медленно, тяжело, как спящий зверь.

Она шагнула.

И лес её впустил.

Она не помнила, сколько шла. Ноги стыли на холодной земле, рубаха промокла от росы, волосы липли к лицу. Ветки хлестали по плечам, корни подворачивались под босые ступни. Но она шла — и не спотыкалась. Будто кто-то вёл её за руку.

Лес не пугал.

Вот что было странно. Деревенские бабы крестились, когда речь заходила о Чёрном лесе. Мужики сюда не ходили даже днём, а если заходили — возвращались бледные, молчаливые, и потом неделю пили горькую. Говорили, что в нём водятся волки, которых не берёт ни стрела, ни рогатина. Что по ночам там кто-то ходит — тяжёлый, мохнатый, с глазами как угли. Что тропинки в нём заводят не туда, а обратной дороги не найти.

Маришка ничего этого не боялась.

Она чувствовала, что лес её знает.

К рассвету она вышла на поляну.

Небольшая, круглая, будто кто-то вырубил деревья по кругу. Посреди — пень, старый, трухлявый, поросший мхом. А за пнём, у самого края поляны, — землянка. Вросла в землю по самую крышу, дверь покосилась, окно затянуло паутиной. Но стояла крепко.

Маришка подошла. Толкнула дверь — та скрипнула, поддалась.

Внутри было темно и сухо. Пахло мышами и старой золой. В углу — печь, сложенная из камня, почерневшая от дыма. Вдоль стены — скамья, застеленная истлевшей рогожей. На полке — глиняный горшок, кружка, ложка. Кто-то здесь жил. Давно.

Маришка села на скамью.

И только теперь заплакала.

Она плакала долго — беззвучно, уткнувшись в колени, вздрагивая всем телом. Плакала по матери, которая осталась на крыльце. По отцу, который стоял и молчал. По деревне, которая её выгнала. По себе — маленькой, босой, в одной рубахе, в лесу, где нет никого.

Потом слёзы кончились.

Она вытерла лицо рукавом, встала. Огляделась. Печь. Скамья. Полка. Дверь.

— Ладно, — сказала она вслух.

Голос прозвучал глухо, будто из-под земли. Но ей стало легче.

Она вышла на поляну. Даже когда солнце поднималось, лес всё равно оставался чёрным. Будто не пропускал солнечный свет. Только редкие лучи пробивались сквозь сосны — косые, пыльные, пахнущие разогретой хвоей. Маришка постояла, подставила лицо теплу.

И услышала.

Сначала — шорох. Потом — дыхание. Тяжёлое, с хрипом. Потом — скулёж.

Она обернулась.

На краю поляны, в тени, лежал волк.

Большой. Серый, с подпалинами, с мощной грудью и длинными лапами. Лежал на боку, тяжело дышал. Задняя лапа вывернута, кровь запеклась на шерсти. Глаза — жёлтые, как у неё были тогда, на крыльце. Он смотрел на неё и не рычал.

Маришка подошла.

Не сразу — шаг за шагом, медленно, чтобы он видел. Волк не двигался. Только следил за ней глазами — устало, без злобы.

Она опустилась на колени рядом.

— Лапу сломал? — спросила она тихо.

Волк вздохнул.

Маришка протянула руку. Он не укусил. Она коснулась его головы — между ушами, где шерсть мягкая, тёплая. Волк закрыл глаза.

— Ладно, — сказала она. — Полежи тут. Я сейчас.

Она нашла в землянке старую тряпку, разорвала на полосы. Вышла, поискала глазами — и, будто зная, пошла к дальнему краю поляны, где под корягой рос мох. Набрала полную горсть. Вернулась.

Волк лежал, где она его оставила. Смотрел.

Маришка промыла ему лапу — он вздрогнул, но не зарычал, — обмотала мхом, приложила к ране, замотала тряпкой. Туго, но не слишком. Как учила мать: «Туго — кровь не идёт, слабо — толку нет. Ищи середину».

— Вот так, — сказала она. — Заживёт.

Волк лизнул ей руку.

Маришка замерла. Потом улыбнулась — впервые за долгое время.

— Ну вот, — сказала она. — Уже дружим.

Она назвала его Серым.

Не потому, что он был серый — мало ли серых волков. А потому, что он был первый. Первый, кто на неё не зарычал, не залаял, не перекрестился. Первый, кто посмотрел ей в глаза и не отвёл взгляда.

Серый остался.

Сначала лежал у землянки, лапу зализывал. Потом начал ходить — сначала вокруг поляны, хромая, потом дальше, в лес. Возвращался. Всегда возвращался. Приносил то зайца, то птицу — клал у двери, будто плату за лечение.

Маришка смеялась:

— Да не надо, Серый. Я не голодная.

А он смотрел на неё жёлтыми глазами и не уходил, пока она не брала.

Потом появился медведь.

Он пришёл на третий день — большой, бурый, с клочковатой шерстью. Вышел из леса на поляну, встал на задние лапы, потянул носом воздух.

Маришка сидела у землянки, чинила рубаху — нашла в углу старую иглу, нитки из сухой крапивы. Подняла голову.

— Ты чего? — спросила она.

Медведь опустился на все четыре лапы. Подошёл ближе. Остановился шагах в пяти. И вдруг сел — неуклюже, по-собачьи.

Маришка поглядела на него внимательно.

— Бок болит? — догадалась она.

Медведь мотнул головой, будто понял.

Она встала, подошла. На боку у него была рана — глубокая, с засохшей кровью и гноем. Кто-то его зацепил — рогатиной ли, стрелой ли. Не заживало.

— Ладно, — сказала Маришка. — Идём.

Она промыла ему рану, приложила траву — ту же, что и волку, да ещё подорожник. Медведь терпел. Только сопел тяжело.

— Будешь Михеем, — сказала она, завязывая тряпку. — Медведь Михей. Как бондарь наш. Тот тоже большой и молчаливый.

Медведь фыркнул.

И остался.

Потом пришла волчица.

Тяжёлая, брюхатая, она выбрела на поляну, шатаясь. Дышала трудно, с хрипом, и выла — тихо, жалобно, будто просила. Из глаз текли слёзы.

Маришка сразу поняла: не разродится сама.

Она постелила волчице старую рогожу у края поляны, уложила её, приговаривая:

— Тихо, тихо. Я тут. Не бойся.

И приняла щенят. Пятерых — крупных, мокрых, слепых. Волчица облизывала их, вздрагивая всем телом, а Маришка вытирала ей морду тряпкой и шептала что-то — не слова, а так, дыханием.

Волчица быстро окрепла.

И не ушла. Осталась с волчатами — в норе под корягой, у самого края поляны. Волчата росли, путались под ногами, тыкались мокрыми носами в ладони. Маришка возилась с ними, как с детьми.

Серый смотрел на них и будто гордился.

А потом пошли другие.

Оленёнок с пораненной ногой — запутался в колючей проволоке, которую кто-то оставил на опушке. Лиса со сломанным хвостом. Ёж с обожжённым боком — видно, из деревни прибежал, где кто-то печь топил и выбросил угли. Ворон с перебитым крылом — тот вообще приполз, не прилетел.

Маришка всех принимала. Никого не прогоняла. Промывала раны, прикладывала травы, заговаривала боль. Одних отпускала, когда заживало. Другие оставались — жили рядом, у землянки, в лесу.

Оленёнка она отпустила через неделю — тот сам ушёл, только оглянулся на опушке. Лиса осталась: хвост отрос, а привычка — нет. Ёж куда-то делся, и ладно. Ворон жил на пне, чинил крыло и каркал на всех, кто подходил слишком близко.

Серый ходил за ней тенью. Михей приходил через день, садился у края поляны, смотрел.

— Что ты всё смотришь? — спрашивала Маришка.

Медведь сопел.

— Ладно, — говорила она. — Смотри.

Людей она не вспоминала.

То есть вспоминала — но зло. Ночью, когда лежала на скамье, глядя в тёмный потолок, перед глазами вставали лица: староста, поп, бабы с вилами. И тогда она сжимала кулаки и шептала в темноту:

— Пожалеете. Все пожалеете.

Серый, лежавший у двери, поднимал голову. Смотрел на неё. И она замолкала.

— Спи, — говорила она. — Чего не спишь?

Он клал голову обратно на лапы.

А она лежала и думала: как там мать? Родила ли? Кого? Мальчика или девочку? И жива ли вообще?

А в деревне тем временем мор прошёл, а хворь осталась. Скотина пала — новая не скоро народится. Дети кашляли, старики не вставали. И знахарка за рекой — та брала дорого и шла медленно, а то и вовсе не шла: стара была, ноги не держали. Вот и вспомнили про ту, что в лесу.

Через месяц пришёл первый человек.

Мужик — из деревни, тот самый Фёдор, у которого она кашель лечила. Пришёл тихо, на закате, крадучись. Остановился на краю поляны, озираясь. Увидел её — сидит у землянки, чинит что-то, — и замер.

Маришка подняла голову.

— Чего тебе?

Фёдор перекрестился. Потом ещё раз. Потом сделал шаг вперёд.

— Маришка… — сказал он. — Это я. Фёдор. Ты меня… от кашля…

— Помню, — сказала она.

Он потоптался.

— У меня это… опять. Кашель. Всю зиму маялся. А весной — пуще. Думал, пройдёт. Не прошло.

Маришка отложила шитьё. Поглядела на него. Долго.

— Иди сюда, — сказала она наконец.

Фёдор подошёл. Она встала, приложила ладонь к его груди — там, где хрипело. Закрыла глаза.

Потом убрала руку.

— Заваришь вот это, — она протянула ему пучок травы, — и пей. Два раза в день. Неделю. Понял?

Фёдор кивнул. Взял траву. Помялся.

— А… сколько я тебе должен?

Маришка усмехнулась.

— Ничего. Иди. И никому не говори, что был здесь.

Фёдор кивнул ещё раз — быстро, испуганно — и ушёл. Почти побежал.

Маришка смотрела ему вслед.

А Серый поднял голову и тихо зарычал.

— Тихо, — сказала она. — Пусть идут. Пусть.

Потом пошли другие.

Баба с ребёнком — у мальца жар, не спадал третий день. Мужик с рукой — топором зацепил, загноилась. Старуха — та вообще приползла, ноги не держали, просила травы от ломоты в костях.

Маришка принимала всех.

Говорила резко, коротко. Не улыбалась. Не провожала до опушки. Но лечила.

— Чего пришёл? — спрашивала она. — Зачем пришёл?

— Так… худо, — отвечал мужик.

— Худо, — повторяла она. — А гнать меня с вилами — не худо было?

Мужик молчал. Опускал глаза.

Она вздыхала.

— Ладно. Проходи. Не на пороге же стоять.

Так и повелось.

Днём — звери. Ночью — тишина. А на закате — скрип шагов у опушки, крадущихся, боязливых. И голос:

— Маришка… это я.

Она выходила. Смотрела.

— Чего тебе?

И лечила.

А деревня шепталась.

— Ходил к ведьме?

— Ходил.

— И что?

— Помогло.

— Ох, грех-то какой…

— Грех. А помогло.

И шли снова. Тихо, крадучись, чтобы сосед не видел. Потому что сосед — тот ещё донесёт.

А поп Никодим ходил чёрный. Службы правил — а голос дрожал. Проповеди говорил — а сам косился на лес.

Знал.

Все знали.

И все молчали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.